

ЭЛЛЕН
ЛА МОТТ

На отливе войны (фрагменты)¹



Эллен Ньюболд Ла Мотт (1873–1961) – американская медсестра, писательница, общественная деятельница.

Эллен Ньюболд Ла Мотт² (Ellen Newbold La Motte) родилась в 1873 году в Луисвилле (штат Кентукки, США) в семье потомков французских эмигрантов. Выучившись на медицинскую сестру, она работала в туберкулезном госпитале в Балтиморе, где, несмотря на сопротивление некоторых врачей, ввела серьезные новшества в лечение и содержание больных. Балтиморский опыт послужил основой для первой книги Ла Мотт «The Tuberculosis Nurse: Her Function and Her Qualifications» (1914). Так обрели черты три главных дела – и три главные страсти – Эллен Ла Мотт: медицина, писательство и общественная деятельность.

В 1915 году Ла Мотт поступила добровольцем на медицинскую службу – и работала во французском полевом госпитале, расположенном недалеко от линии фронта в Бельгии. Говорят, идею отправиться на войну подала ей американская писательница, классик высокого модернизма Гертруда Стайн, которая жила в Париже. Так или иначе, Стайн сыграла важную роль в жизни Ла Мотт – помимо связывавших их близких дружеских (и одно время любовных) отношений, именно ее проза стала литературным образцом для Ла Мотт, когда та решила писать очерки о повседневной жизни военного госпиталя, где работала. Книга «The Backwash of War: The Human Wreckage of the Battlefield as Witnessed by an American Hospital Nurse» вышла в 1916 году и наделала немало шума прямым, документальным изображением физиологического и нравственного ужаса войны. «The Backwash of War» возмутила блюстителей морали и певцов героизма; сразу после вступления США в Первую мировую она была запрещена в этой стране и переиздана лишь в 1934-м.

Это блестящая проза – и одно из самых страшных свидетельств о войне. Стилль Ла Мотт – экономный, объективный, отчасти отстраненный, почти лишенный эмоций, но отнюдь не формальный или холодный – напоминает раннюю прозу Эрнес-

- 1 Полный русский перевод книги Эллен Ла Мотт под названием «На отливе войны» готовится к выходу в издательстве Ивана Лимбаха. Мы благодарим главного редактора издательства Ирину Кравцову за возможность данной публикации. Перевод сделан по: LA MOTTE E. *The Backwash of War: An Extraordinary American Nurse in World War I*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2018.
- 2 Сведения о жизни Эллен Ла Мотт достаточно скудны, более подробно о ее биографии можно прочитать в недавнем издании, которое подготовлено Синтией Уотчелл (Ibid).

та Хемингуэя, чьим литературным наставником, но уже в послевоенном Париже была та же Гертруда Стайн. В связи с этим существует даже мнение о чуть ли не эпигонстве Хемингуэя; вряд ли оно справедливо, но, в конце концов, литературная известность автора «Фиесты» затмила скромное писательство американской медсестры и госпитального администратора. Русско-му читателю стиль и особенно интонация «The Backwash of War» напомнят скорее «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

После Первой мировой Эллен Ла Мотт продолжила общественную деятельность, но уже в Юго-Восточной Азии. Она отправилась туда исследовать опиумную наркоманию в Китае, размах которой поражал современников (и в которой прежде всего были повинны западные державы, в середине XIX века насильно открывшие Поднебесную империю для запрещенного ее властями ввоза этого наркотика). Итогом пребывания в Китае (в котором в 1920-х – начале 1930-х шли гражданские войны) стали сразу шесть книг, последняя из которых, «Opium in Geneva: Or How the Opium Problem is Handled by the League of Nations» (1929), была посвящена попыткам недавно созданных международных организаций справиться с опиумной проблемой. В 1930 году гоминдановское правительство Китая наградило Эллен Ла Мотт памятной медалью Линя Цзэсюя.

После возвращения из Азии Ла Мотт продолжала общественную и литературную деятельность почти до самой смерти в 1961 году. В 2014-м и 2018-м вышли два переиздания «The Backwash of War» с комментариями³. В интернет-библиотеках можно скачать первые издания этой и других книг Эллен Ла Мотт⁴, однако ее жизнь и сочинения еще ждут своего исследователя. [Николаас Лукас]

ЭЛЛЕН ЛА МОТТ

НА ОТЛИВЕ ВОЙНЫ
(ФРАГМЕНТЫ)

ДЫРА В ЗАБОРЕ

Госпиталь стоял в поле возле деревни и был огорожен плотным, высоким, колючим забором. На его территории располагалась дюжина деревянных лачуг, выкрашенных зеленой краской и связанных друг с другом дощатыми дорожками. По эту сторону забора никто не знал, что происходило снаружи. Предположительно, война. До войны было десять километров, судя по карте и звукам выстрелов, которые в иные дни доносились настолько громко, что деревянные лачуги тряслись и дрожали, хотя

3 Помимо упомянутого издания Синтии Уотчелл см.: ИДЕМ. *The Backwash of War: The Human Wreckage of the Battlefield as Witnessed by an American Hospital Nurse*. London: Conway, 2014.

4 См.: www.gutenberg.org/ebooks/author/8965.

со временем привыкаешь и к этому – до известной степени. Госпиталь стоял очень близко к войне, так близко, что никто ничего о ней не знал, и поэтому жизнь в госпитале была ужасно скучна: ни новостей, ни газет – только дрязги и рутинная работа. Что до забора, то, если один из его колышков портился или отваливался, это место плотно заколачивали столбами или досками, так что госпиталь был настоящей тюрьмой для его обитателей. Официальный вход был только один – через большие двойные ворота с пропускной будкой, возле или внутри которой – в зависимости от погоды – день и ночь стоял постовой. Днем вялый французский флаг над воротами указывал путь санитарным машинам. Ночью той же цели служил фонарь. Ночной постовой часто засыпал, а дневной часто уходил с поста, и оба, когда считали нужным, записывали в журнал имена тех, кто появлялся на территории или покидал ее. Полевые санитарные машины приезжали и уезжали, машины госпиталя приезжали и уезжали, иногда приезжала и уезжала машина генерала, открыто сновали сквозь ворота и другие люди, связанные с работой госпиталя. Но совсем другое дело – те, кто выбирался через забор.

Время от времени в заборе обнаруживали дыры. Дыра появлялась под одним из колышков, размером не больше фута – как раз достаточно, чтобы проползти на животе. Через день, два или три ее заколачивали крепкими столбами и обвешивали ключей проволокой. А потом – скажем, через пару дней – в заборе появлялись новые дыры. И каждый раз, когда обнаруживали дыру, в госпитале происходили любопытные события.

Нескольких мужчин – санитаров или носильщиков – арестовывали. Например, медсестра из *Salle I*, палаты для *grands blessés*, приходила на утреннюю смену и обнаруживала, что одного из санитаров нет на месте. Пропал Фуке, который подметал палату, носил тапки, выдавал раненым завтраки. Без него работа в палате шла как попало. Пол был покрыт засохшими комками грязи, которую ночью притащили на ботинках носильщики. Пациенты орали, требуя внимания, которого не получали. Им раздавали не ту еду и не в то время. Медсестра выглядывала в небольшое квадратное окно палаты и видела, как Фуке бродит с веселой и дерзкой улыбкой на лице туда-сюда по деревянным настилам между *baracques*⁵, тягая на плечах восьмидесятифунтовый боекомплект. Он был «в тюрьме». Прошлой ночью он выполз через дыру в заборе, нахлестался в ближайшем *estaminet*⁶, а наутро смело прошествовал через ворота, чтобы его «посадили». Он и правда этого хотел. Потому что с него было довольно. Его все достало. Все. Достало рабо-

5 Бараки, деревянные хижины (фр.).

6 Забегаловка, таверна (фр.).

тать *infirmier*⁷, вытирать полы, носить ведра, нарезать жесткое мясо для поникших одноруких мужчин с *Croix de Guerre*, болтающимися на их заляпанных кофе пижамах. Ох, уж эти *Croix de Guerre* на запачканной яичницей потной пижаме!

Давным-давно, когда никто еще не думал о войне – ах, как давно это было, лет шесть назад, – Фуке знал одного депутата. И его отец знал этого депутата. И когда пришло время Фуке проходить службу, он стал *infirmier*. Медбратом, а не солдатом. Его научили управляться с носилками – с пустыми носилками. Подметал палаты – без пациентов. Отслужил два года, тренируясь на пустых кроватях и пустых носилках. Халявная служба ему досталась – благодаря депутату. Потом началась война, и все равно это была халява, хотя теперь в кроватях и палатах было полно народу. Все-таки не было опасности, не было окопов на передовой, потому что Фуке призвали *infirmier*, медбратом в военный госпиталь. Он был 25-летний парень крупного телосложения, румяный и сильный, к тому же шести футов ростом – а это много для француза. И он должен был ухаживать за маленьким крикливым мужичком ростом футов в пять, которому в обмен за оторванный нос вклеили на грудь *Médaille Militaire* и который орал ему: «Принеси тазик, *embusqué!*». И Фуке приносил. А если бы не принес, маленький крикливый безносый мужичок с плоской перевязкой поперек лица нажаловался бы на него *Médecin Chef*⁸ и со временем его могли перевести в окопы на передовой. Что угодно – только не окопы на передовой. Фуке знал это, потому что видел, как раненые злятся из-за того, что он не в окопах. Старики злились ужасно. К концу лета в их секторе сменили войска, и молодых зуавов заменили стариками 40–45 лет. Когда их доставляли в госпиталь после ранения, они выглядели намного старше: часто их бороды и волосы седели, и, кроме ран, на них оставляли отпечаток холодные зимние фламандские дожди. У одного из таких стариков, который почти всегда ругался, сын тоже служил в окопах. Этот старик люто ненавидел Фуке. И стар и млад – все его называли *embusqué*. Они завидовали, страшно завидовали ему, ведь он не был в окопах, и считали несправедливым, что у них среди знакомых не было депутата. Но Фуке все это достало. День за днем, восемнадцать месяцев подряд, с самого начала войны он ухаживал за ранеными. Он исполнял приказы простых солдат, исходив палату вдоль и поперек своими тяжелыми деревянными башмаками, натываясь ими на кровати, выслушивая обвинения в том, что даже неповоротливость его – преднамеренная. В госпитале было много священников, которые тоже служили медбратами. Они тоже бегали и носи-

ЭЛЛЕН ЛА МОТТ

НА ОТЛИВЕ ВОЙНЫ
(ФРАГМЕНТЫ)

7 Медбрат (фр.).

8 Главный врач (фр.).

ли, но казалось, что они с готовностью принимают эту участь. Только Фуке и еще несколько человек ее не принимали. Фуке не принимал ни войны, ни окопов на передовой, ни полевого госпиталя, ни раненых – ничего, связанного с войной. Его до смерти достала война. Дыра в заборе и *estaminet* были его спасением.

Был у них один священник с желтой бородой, который тоже пользовался дырой в заборе. Если появлялась дыра, он лазил в нее чуть не каждую ночь. Он проползал, выпивал, а потом шмыгал в деревню, чтобы провести ночь с девчонкой. Но он был ловкий и заползал обратно до рассвета, а утром выходил на службу. Да, он становился нервным и вспыльчивым, и пациенты в такие дни предпочитали скорее обходиться без некоторых вещей, чем что-то у него просить, и порой сильно от этого страдали.

Но с Фуке все было иначе. Тем утром он гордо прошел через ворота и сказал, что отсутствовал всю ночь без дозволения и что все это его до смерти достало. И *Médecin Chef* его наказал. Его арестовали, но, поскольку посадить его было некуда, он провел свой шестидневный срок на свежем воздухе. Ввалив на плечи восемьдесят фунтов боекомплекта, он ходил по дощатым дорожкам и по грязи вокруг *baracques* – у всех на виду, чтобы все могли лицезреть его унижение. Он больше не работал в палате, где не доставало его неохотной, неуклюжей услужливости.

Иногда мимо проходила *Directrice*. Он боялся с ней пересекаться, потому что однажды она пошла к *Médecin Chef* и добилась для него прощения. Его публичное унижение тронуло ее доброе сердце, наказание отменили, и после двух часов свободы на редком октябрьском солнце ему пришлось вернуться к работе, которую он ненавидел, к пациентам, которых презирал. С тех пор, если он издали замечал на одной из дорожек синий плащ *Directrice*, он старался не попасться ей на глаза. Женщины на фронте только мешали.

Он часто встречал мужчину, который подбирал бумажки, и искренне завидовал его простой службе. Его мобилизовали в *formation*⁹ госпиталя и поручили подбирать на территории клочки бумаги. У него была длинная палка с гвоздем на конце и маленькое ведро, потому что подбирать было особенно нечего. Он накалывал бумажки на свой гвоздь, так что даже наклоняться не приходилось. Он ходил на чистом, свежем воздухе, а когда шел дождь, устраивался у печи в аптеке. Этот сборщик бумажек был химиком; его предшественник был священником. Это было отличное место для дееспособного мужчины с достаточным образованием, и Фуке ужасно хотел бы получить эту

9 Войсковое соединение (фр.).

работу, только боялся, что недостаточно образован, потому что на гражданке всего лишь помогал на ферме. Так что, бродя туда-сюда по дорожкам, он с завистью глядел на мужчину, который собирал бумажки.

Так он ходил туда-сюда между *baracques* с полновесным боекомплектом, упрямый и гордый. Другие санитары и носильщики смеялись над ним, приговаривая:

– А вот и наказанный Фуке идет!

А пациенты, которым его не хватало, спрашивали:

– Где Фуке? Наказали?

А медсестра, которой тоже его не хватало, говорила:

– Бедный Фуке! Наказали!

Но Фуке, расхаживая туда-сюда у всех на виду, был доволен, потому что он отлично покутил предыдущей ночью, а на следующий день ему не надо было нянчиться с пациентами, и была только одна вещь, которую он любил в войне, – армейская дисциплина.

Один

Сегодня умер Рошар. У него была газовая гангрена. Осколок немецкого снаряда порвал ему бедро от колена до ягодицы. Это интересный случай, потому что заражение распространилось очень быстро. При том, что лечить его начали сразу – через шесть часов после ранения Рошар уже был в госпитале. Когда тебе оторвало бедро, получить первоклассную хирургическую помощь через шесть часов – это почти сразу. Но гангрена все равно росла, что лишний раз указывало на то, насколько ядовитыми были немецкие снаряды¹⁰. В полевом госпитале организовали школу хирургии, куда посылали молодых людей, которые только выпустились из медучилищ, и стариков, которые выпустились уже давно, чтобы они научились работать с ранеными. После двухмесячной практики военной хирургии их направляли в другие госпитали, где они продолжали работать самостоятельно. Так что все эти молодые люди, которые мало что знали, и все эти старики, которые почти ничего не знали, а что знали, забыли, учились в полевом госпитале. Это было необходимо, потому что хороших докторов всегда не хватало и, чтобы заниматься больными, приходилось прибегать к услугам юных и престарелых. Тем не менее *Médecin Chef*, который отвечал за госпиталь и школу хирургии, был блестящим хирургом и хорошим управленцем, и он многому научил своих студентов. Когда Рошара доставили в операционную, молодые

10 Газовую гангрену вызывало заражение ран бактериями, находившимися в земле окопов и полей боя.

и старые студенты собрались вокруг, чтобы рассмотреть его случай. Все правое бедро от колена до ягодицы было разорвано в клочья до самой кости и источало страшную вонь. Студенты подходили один за другим и робко надавливали пальцами на верхнюю часть бедра – на то, что от него осталось, – раздавалось слабое потрескивание, как будто лопались пузырьки. Газовая гангрена. Диагноз ставится очень просто. Кроме того, рядом как раз оказался бактериолог из другого госпиталя в регионе, который взял посев из раны и позже сообщил *Médecin Chef*, что нет никаких сомнений в том, что это газовая гангрена. Но *Médecin Chef* уже научил своих студентов распознавать газовую гангрену по потрескиванию, запаху и по тому факту, что пациент, как правило, вскоре умирает.

Ампутировать ногу было невозможно, как бы им этого ни хотелось. Инфекция настолько высоко забралась по бедру, что это было исключено. Кроме того, у Рошара был проломлен череп. Один из осколков пробил ему ухо и застрял в мозгу. Обе раны были смертельны, но газовая гангрена в разорванном бедре убивала его быстрее. Рана воняла. Запах стоял омерзительный. *Médecin Chef* взял кюретку, небольшой совок и соскреба мертвую плоть, мертвые мускулы, мертвые нервы, мертвые сосуды. И столько мертвых сосудов собрала острая кюретка, что трудно было понять, как в верхней части этого безжизненного бедра циркулирует кровь. Она и не циркулировала. Вглубь зияющей раны вложили компрессы из марли, пропитанной карболовой кислотой, которая прожигала микробы газовой гангрены, убивая вместе с ними здоровые ткани. Затем дымящуюся, пылающую рану накрыли абсорбирующей ватой, поверх наложили чистые аккуратные повязки, после чего позвали носильщиков, которые отнесли Рошара из операционной в палату.

Следующим утром ночная медсестра доложила, что он провел ночь в мучениях.

– *Cela pique! Cela brule!*¹¹ – кричал он всю ночь, ворочаясь с одного бока на другой, пытаясь облегчить боль. Иногда он лежал на здоровом боку, иногда на больном, и ночная медсестра переворачивала его с одного на другой, исполняя его просьбы, потому что знала, что ни одно из положений не облегчало его боль, если не считать того морального облегчения, которое приносили бесконечные повороты. Она послала одного из санитаров – Фуке – за *Médecin Chef*, и тот пришел в палату, поглядел на Рошара и сказал медсестре дать ему морфия – и давать ему столько морфия, сколько она посчитает нужным. Потому что только смерть может избавить от такой боли и только морфия, чуть раньше смерти, может ее немного облегчить.

11 Колет! Жжет! (фр.).

Ночная медсестра ухаживала за Рошаром всю ночь, без конца его переворачивала и давала ему морфий, как велел *Médecin Chef*. И всю ночь она слушала его крики, потому что морфий не помогал. Иногда морфий может облегчить боль этой жизни, но только смерть приносит абсолютное избавление.

Когда на следующее утро на смену пришла дневная медсестра, Рошар был в агонии.

– *Cela pique! Cela brule!* – кричал он.

И снова, и снова – все время:

– *Cela pique! Cela brule!* – имея в виду боль в ноге.

Из-за осколка снаряда, который пробил ему ухо и застрял где-то в мозгу, он был не вполне в своем уме. Да и невозможно быть вполне в своем уме с трехсантиметровым куском немецкого снаряда в черепе. А по словам рентгенолога, в черепе у Рошара, где-то в его мозгу, застрял трехсантиметровый кусок немецкого снаряда. Это был отличный рентгенолог и анатомист, и он внимательно работал с красивым дорогим аппаратом, который подарила ему – или госпиталю – мадам Кюри¹².

Всю ночь Рошар мучился и кричал, крутился и вертелся – сперва на оставшемся бедре, потом на бедре, которого уже не было, – и ни на одном из них, даже после многих ампул морфия, ему не становилось легче. А это доказывает, что морфию, как бы его ни хвалили, не потягаться со смертью. И, когда наутро пришла дневная медсестра, она увидела, что Рошар держался молодцом после ночи в агонии, после *picques*¹³ стрихнина, который давал его сердцу биться, а легким дышать, после многих *picques* морфия, которые не облегчили его боль. Наука исцеления была безоружна перед наукой разрушения.

Рошар умирал медленно. Он перестал бороться. Он бросил надежду найти облегчение, переворачиваясь с оставшегося бедра на то, которого уже не было. Он перестал кричать. На рассвете его мозг, в котором застрял осколок немецкого снаряда, казалось, начинал думать, становился разумным. Предыдущим вечером, после возвращения из операционной его наградили *Médaille Militaire*, которую ему вручил – *in extremis* – главный генерал региона. На медали, которую прикрепили к стене над его койкой, красовались слова: *Valeur et Discipline*¹⁴. Дисциплина торжествовала. Он лежал так тихо и спокойно, так послушно и дисциплинированно, что больше не тревожил палату своими стенаниями.

Малыш Рошар! Невысокий садовник 39 лет, вдовец с одним ребенком! Из-за осколка снаряда в черепе один его глаз пере-

12 Имеется в виду Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) – выдающаяся французская ученая и общественная деятельница, получившая две Нобелевских премии (по физике в 1903-м и по химии в 1911 году) за свои открытия и разработки в области радиоактивности. Возможно, Ла Мотт встречала ее в Париже до войны.

13 Уколы (фр.).

14 Честь и Дисциплина (фр.).

стал видеть. Из-за кровоизлияния в глазное яблоко оно покраснело и впало, а веко над ним перестало закрываться, и красный глаз все глядел и глядел в пустоту. А второй глаз опускался все ниже и ниже, оголяя белок, и веко опускалось над ним, пока не остался виден только белок, а это значило, что он умирает. Но слепой, красный глаз глядел поверх всего. Упорно, не моргая он глядел в пустоту. Так что медсестра следила за тусклым белым глазом, в котором отражалось приближение смерти.

Никто в палате не любил Рошара. Он провел в ней не так много времени. Для всех он был чужой. Просто умирающий мужчина в полевом госпитале. Маленький чужак Рошар с одним слепым красным глазом, глядящим в ад, в ад, из которого он пришел. И с одним белым умирающим глазом, который показывал, что он жил – недолго, мимолетно, но жил. Медсестра ухаживала за ним очень внимательно, добросовестно, умело. Много раз заходил хирург, но он уже сделал все что мог, так что каждый раз он пожимал плечами и отворачивался. У подножья кровати, уперев руки в бока, расставив ноги, стоял молодой санитар Фукке, смотрел на Рошара и говорил:

– Ой-ой-ой!

И Симон, другой санитар, тоже иногда вставал у подножия кровати, смотрел на Рошара и говорил:

– *Ah! C'est triste! C'est bien triste!*¹⁵

Рошар умер чужаком среди чужаков. И многие ухаживали за ним, но никто его не любил. Все, что они знали, – это красный слепой глаз, тусклый белый глаз и мерзкий запах гангрены. И казалось, красный неморгающий глаз смотрит на что-то, чего госпиталь дать не может. И казалось, что белому остекленевшему глазу безразлично все, что госпиталь дает. А в воздухе над ним повис мерзкий запах гангрены, подобно ауре, в которую его заключили. И он был заперт, как в ауре, в этом мерзком запахе гангрены. И никто его не любил – никто не мог забыть о запахе.

В десять часов утра он погрузился в ступор и пролежал без сознания, пока медсестра не ушла на обед. Нужно было есть, хотя ей и не хотелось. Она сказала Фукке внимательно следить за Рошаром и позвать ее, если что-нибудь изменится.

После завтрака она поспешила проведать Рошара, открыть ярко-красные радостные ширмы, которые отделяли его от остальных. Рошар умер.

А на другом конце палаты сидели два санитары и пили вино.

Париж,
15 апреля 1915 года¹⁶

15 Ах, это грустно! Как это грустно! (фр.).

16 Это явно ошибочная дата. Как пишет Синтия Уотчелл, Ла Мотт прибыла в госпиталь только летом 1915-го, когда он открылся. Скорее всего глава была написана 15 апреля 1916 года.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ

ЭЛЛЕН ЛА МОТТ

НА ОТЛИВЕ ВОЙНЫ
(ФРАГМЕНТЫ)

Большая английская санитарная машина ехала по широкой дороге из Ипра¹⁷ в направлении французского полевого госпиталя в десяти милях от города. Как правило, эти машины не ездили во французский госпиталь, потому что всех раненых англичан возвращали обратно на их базы, так что, наверное, дело было исключительным. Так оно и было – в открытом кузове, занавешенным коричневым брезентом, лежал не английский солдат, а маленький бельгийский мальчик из гражданских, а бельгийские гражданские не были приписаны ни к французам, ни к англичанам. Да, на английской базе в Азбруке был госпиталь для бельгийских гражданских, и было бы логично отвезти пациента туда, но еще логичней было спихнуть его на французский госпиталь, который был ближе. Не из гуманных соображений, просто так было быстрее. На войне гражданские – дешевый материал, а ребенок, к тому же бельгиец, – дешевле некуда. Поэтому тяжелая английская машина вскарабкалась по грязи на холм, побуксовала в грязи перед воротами госпиталя, со скрежетом остановилась на выгаре у *Salle d'Attente*¹⁸, выгрузила свою ношу и уехала восвояси.

Хирург французского госпиталя сказал:

– А мы тут при чем?

И все-таки задумчиво посмотрел на пациента. Мальчик был совсем маленький. Кроме того, большая английская машина уехала, так что жаловаться было некому. Маленького пациента положили на одну из кроватей в *Salle d'Attente*, и французский хирург осмотрел его, раздумывая над тем, что ему делать. Раз пациент добрался до французского госпиталя, можно было считать, что он к нему приписан, а поскольку большой английской машины из Ипра уже не было, протестовать было бессмысленно. Французский хирург был раздосадован и раздражен. Типичный английский трюк, подумал он, сваливать на других свою работу. Если ребенка ранили на их направлении¹⁹, могли отвезти его в один из своих госпиталей или в госпиталь для бельгийских гражданских – да, там всегда полно народу, но уж для такого маленького место нашли бы. Хирург не на шутку завелся. Если что и есть у Антанты – так это взаимопонимание²⁰. Мысли в голове у французского хирурга надоедливо ходили кругами, все время возвращаясь к тому факту, что англичане уехали, пациент остался и что-то нужно было делать. Он стоял и думал.

17 Ипр был местом кровопролитнейших сражений Первой мировой войны, в ходе которых стали применяться отравляющие вещества, отсюда название одного из них – «иприт».

18 Приемный покой (фр.).

19 Ипр был в британской зоне ответственности.

20 Игра слов: Entente (фр.) – взаимопонимание, согласие; Антанта – тройственный союз Французской республики, Британской и Российской империй.

Бельгийский гражданский лет десяти. Приблизительно. Прострелен живот – приблизительно. Умирает – определенно. Как обычно, хирург принялся тянуть и закручивать длинные черные волосы на своих голых волосатых руках, раздумывая, что делать дальше. Подумав пять минут, он распорядился доставить ребенка в операционную и начал тщательно мыть свои волосатые руки, готовясь к тяжелой операции. Потому что бельгийскому гражданскому десяти лет распорол живот немецкий снаряд или его осколок и ничего не оставалось, кроме как его вытащить. В любом случае дело было безнадежное. Ребенок умер бы без операции так же, как он умрет во время операции или после нее. Французский хирург яростно мыл руки, потому что все еще был на взводе из-за англичан, которые бросили ребенка у него на пороге и уехали. Надо было везти его на одну из английских баз – в Сент-Омер или Азбрук, – а не обманом, так бесцеремонно втюхивать им, потому что «здесь» намного ближе.

– Халтурщики, – процедил сквозь зубы возмущенный хирург.

После кропотливой операции бельгийского гражданского отвезли в палату – выживать или умирать, как повезет. Очнувшись после анестезии, он стал вопить и звать маму. Ему было десять лет, разума он еще не набрался, и было невозможно остановить его вопли. Это сильно раздражало остальных пациентов, которые возмущались, что спокойствие и комфорт ползлых солдат нарушают прихоти бесполезного гражданского, да еще и бельгийского ребенка. Медсестра этой палаты тоже вела себя глупо с этим гражданским, уделяя ему намного больше внимания, чем солдатам. Она была сентиментальна и повелась на его возраст – никакого чувства пропорций, никаких ценностей. В палату зашла *Directrice* и попыталась утешить мальчика, остановить его завывания, но только потратила час впустую и, в конце концов, решила, что нужно послать за его матерью. Он явно умирал, и нужно было послать за его матерью, потому что, видимо, все, кроме нее, ему было безразлично. И французская санитарная машина, которой не было никакого дела ни до бельгийских гражданских, ни тем более до Ипра, выехала поздним вечером, чтобы привезти его мать, о которой без конца вопил бельгийский гражданский десяти лет.

Наконец, она приехала – казалось, с неохотой. Было часов десять вечера, и только она вышла из посланной за ней большой машины, как начала жаловаться. Шофер сказал, что по пути она тоже не переставая жаловалась. Она спустилась с переднего сидения спиной вперед и на мгновение повисла на колесе, пока ее увесистая нога в скользком сабо судорожно пыталась нащупать землю. Солдат с фонарем равнодушно посмотрел, как она плюхается в лужу грязи, чего вполне мож-

но было избежать. Она продолжила жаловаться. Ее оторвали от мужа, от остальных детей, и казалось, ее мало волновал ее сын, бельгийский гражданский, который предположительно был при смерти. Но раз уж она здесь, раз уж проделала весь этот путь, она заглянет к нему, раз *Directrice* считает, что это так необходимо. *Directrice* французского полевого госпиталя была американка, но британская подданная по браку, и у нее были занятые, устаревшие представления о мире. Она полагала, что, когда ребенок умирает, мать должна быть рядом. У *Directrice* были трое детей, которых она оставила в Англии около года тому назад, когда приехала во Фландрию для жизни и приключений фронта²¹. Но она бы, ни секунды не думая, вернулась в Англию, если бы узнала, что один из ее детей умирает. У бельгийской матери был противоположный взгляд на дело: она считала, что ее место – в Ипре, у себя дома, с мужем и остальными детьми. Более того, эту бельгийскую мать насильно увезли из дома, оторвали от семьи, от обязанностей, которые она считала важными. Так что она горько жаловалась и с большой неохотой пошла в палату, чтобы увидеть своего сына, который предположительно был при смерти.

Она увидела сына, поцеловала его, а потом попросила отвезти ее назад в Ипр. *Directrice* объяснила ей, что мальчик может не пережить этой ночи. Бельгийская мать приняла к сведению это утверждение и снова попросила отвезти ее в Ипр. *Directrice* снова заверила бельгийскую мать, что ее сын не переживет этой ночи, и попросила ее провести эту ночь с ним в палате, чтобы присутствовать при его кончине. Бельгийская женщина сопротивлялась.

– Если мадам *Directrice* приказывает, если она настаивает, то я, конечно, подчинюсь. Я проделала весь этот путь, потому что она приказала, и, если она настаивает на том, чтобы я провела здесь ночь, так оно и будет. Но если она не настаивает, то я предпочла бы вернуться домой в Ипр к остальным детям.

И все-таки *Directrice*, которую охватило материнское чувство к умирающему, приказала и настояла, и бельгийка сдалась. Она всю ночь сидела с сыном, слушала его вопли и стенания и была рядом в три часа утра, когда он умер. После чего она попросила отвезти ее обратно в Ипр. Ее тронула смерть сына, но долг звал ее домой. *Directrice* пообещала, что на его похоронах прочитают мессу, и, услышав это обещание, женщина посчитала, что для нее нет причин оставаться.

– У моего мужа, – объяснила она, – небольшой кабачок на окраине Ипра. Пока нам очень везло. С самого начала этой долгой войны это первый раз, когда к нам в кухню залетает

21 У Мэри Борден, директрисы госпиталя, который описан в книге Ла Мотт, в Великобритании остались муж и три маленьких дочери.

снаряд, вот и сына нашего поранил, сами видели как. Но у нас есть другие дети, их тоже кормить нужно. Сейчас муж хорошо зарабатывает – продает выпивку английским солдатам. Я должна вернуться ему помогать.

И бельгийского гражданского похоронили на кладбище для французских солдат, но его мать уехала в Ипр задолго до этого. Шофер машины, который вез ее обратно в Ипр, побледнел, когда получил этот приказ. Все боялись Ипра и его опасностей. Это было место смерти. Только бельгийка, у которой муж держал кабачок и хорошо зарабатывал, продавая выпивку английским солдатам, не боялась Ипра. Они с мужем хорошо зарабатывали на войне, и эти деньги могли помочь им вывести детей в люди. Она с готовностью забралась в машину, хотя и была благодарна *Directrice*, которая обещала отслужить мессу по ее мертвому сыну.

– Ох, уж эти бельгийцы! – сказал французский солдат. – Как они разбогатеют после войны! Наживутся на американцах и на всех остальных, кто приедет поглазеть на руины!

И, будто про себя, тихо добавил:

– *Ces sales Belges!*²²

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ТРИУМФ

В Латинском квартале, где-то возле перекрестка бульвара Монпарнас и улицы Ренн²³, – а может быть, дальше, за вокзалом Монпарнас или с другой стороны, там, где улица Вавен прорезает улицу Нотр-Дам-де-Шамп, – если вы знаете квартал, то знаете и это место, – жил маленький парикмахер по имени Антуан. Около десяти лет назад Антуан перебрался сюда с Монмартра²⁴, потому что был хорошим парикмахером, и к тому же экономным, и ему хотелось устроиться получше, а в то время лучшим вложением ему казался переезд в район, где заправляют американцы. Он слышал, что американские студенты вечно хотят вымыть голову – минимум раз в неделю – и что этим они отличались от русских, польских, румынских и других парижских студентов, и это побудило Антуана вести дела на Монпарнасе, а не в другой части квартала, скажем, возле Пантеона и церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Он решил стричь по заниженным ценам, чтобы набрать популярность, а позже, когда дело пошло в гору, не стал повышать цены, чтобы не потерять клиентов. Ведь когда привыкаешь мыть голову за два франка, да

22 Ох, уж эти поганые бельгийцы! (фр.).

23 Ла Мотт жила в пансионате на бульваре Монпарнас в течение года перед началом войны.

24 Район Парижа на правом берегу Сены; во второй половине XIX – начале XX века был популярен среди художественной и артистической богемы.

еще и хорошенько, очень неприятно однажды обнаружить, что цена вдруг выросла до уровня бульвара Капуцинов. Так что целых десять лет Антуан продолжал мыть головы за два франка, заработав к тому же репутацию настоящего молодца во всем, что касается волнистых и кудрявых волос. Так что к тому моменту, когда началась война и американцы все бросили и убежали, он накопил себе приличную сумму и мог жить спокойно. К тому же он хромал на левую ногу, которая была на семь сантиметров короче правой из-за одного детского происшествия, и поэтому никогда не служил в армии. И хотя по возрасту он попадал под призыв, вероятность, что его призовут, была невелика. Так что он стоял в проеме своей опустевшей лавки, из которой призвали всех его помощников, завивщиков и шампунщиков, и оглядывал опустевшую улицу, поздравляя себя с тем, что оказался в более сносном положении, в финансовом плане и не только, чем многие из его соседей.

Рядом с его лавкой был ресторан, куда ходили студенты. До войны он славился дешевизной, и дважды в день его наполняла пестрая толпа скульпторов, художников, писателей и просто дилетантов, которые позже любили свысока похваливать его за то, они называли «местным колоритом». Видели бы они его сейчас, думал бережливый Антуан. Все сбежали, кроме дюжины непутевых студентов, у которых не было на это денег и которые по доброте душевной продолжали столоваться в ресторане «в кредит», чтобы владельцу было чем заняться. Даже такой дурак, как этот владелец, должен был рано или поздно понять, что с точки зрения выручки высокомерная похвала совершенно бесполезна и даже смехотворна.

Отдыхая на пороге, Антуан думал о своем сыне. О своем единственном сыне, который, слава богу, был слишком мал, чтобы идти воевать. Ко времени, когда он вырастет, война закончится – она не может продлиться больше шести недель или пары месяцев, – так что у Антуана не было поводов волноваться. Пацан был здоровый, крупный, с пробивающимися усиками, из-за которых он выглядел старше своих семнадцати лет. Он тоже обучился – на человеческих головах и не только – искусству мытья волос, завивки и покраски и умел обнадежить самых прихотливых клиентов, щелкая щипцами для завивки, так что Антуан рассчитывал на самое светлое будущее для сына. Война не сулила ужасов Антуану, и он мог свободно рассуждать о будущем сына, которое и вправду казалось светлым и замечательным, несмотря на все временные неурядицы. И, хотя он растерял и ассистентов, и клиентов, которых обслуживали эти ассистенты и он сам, ему не было нужды закрывать свое заведение. Потому что в Париже все еще оставалось достаточно американских голов, которые время от времени нужно было

ЭЛЛЕН ЛА МОТТ

НА ОТЛИВЕ ВОЙНЫ
(ФРАГМЕНТЫ)

мыть, – довольно отчаянных голов, авантюристских, любопытных, падких до сенсаций голов, которые остались в Париже поглядеть на войну, увидеть столько, сколько получится, чтобы обогатить личный опыт. Антуан не оспаривал ни одной из точек зрения, хотя некоторые из его сограждан по самым разным причинам хотели, чтобы надоедливые иностранцы убрались восвояси.

Тем не менее месяцы шли один за другим, и начало казаться, что его прозорливость и предпринимательская расчетливость на этот раз дали сбой. Его предсказания относительно длительности войны не сбылись. Она длилась недопустимо долго, и с каждым днем в ней появлялись новые фазы, для которых не находилось немедленных решений. Так прошел год, сыну Антуана исполнилось восемнадцать, и у него выросли такие внушительные усы, что отец приказал ему их сбрить. Прошло еще два месяца, и Антуан решил снова одеть сына в короткие штаны: хотя парень был крепким и толстым, ростом он не отличался, и в коротких штанах выглядел просто толстым парнишкой-переростком, и Антуан начал беспокоиться, наблюдая, как молодых призывников забирают в армию. Антуан знал, что в одной из мэрий Парижа – может быть, на Монмартре, откуда он был родом, или в *Préfecture de Police*²⁵, или в *Cité*²⁶ – есть запись о возрасте и навыках его сына, которая может в любой момент быть использована против него, поскольку недели перетекали в месяцы, и становилось ясно, что скоро мобилизация коснется парней того возраста, к которому относится и его драгоценный сын. Для Антуана начались ужасающие недели нервного ожидания и страха. С каждым новым днем его парнек становился все более ловким и умелым, начинал все лучше разбираться в профессии, стал все аккуратней и уверенней управляться с самыми непослушными волосами, научился тратить минимум газа на сушилке для волос и минимум мыльной пены и в целом стал достигать все лучших результатов, оставляя клиентов довольными, и с каждым новым днем росла опасность, что его оторвут от жизни и от всех перспектив, которые перед ним открывались, и заставят сражаться за славную родину. Бедный толстячок! По воскресеньям он расхаживал по бульвару Распай с немецкой овчаркой – два года назад ее купили как немецкую овчарку, но теперь она стала бельгийской, – разве мог он снять свои штанишки и стать французским солдатом! И все-таки с каждым днем вероятность такого исхода росла, и однажды, наконец, пришла повестка, парнишка уехал, а Антуан с отчаянием погрузился в траур и на целую неделю закрыл ставни. Он возненавидел Англию, которая не

25 Префектура полиции (фр.).

26 Центральная канцелярия (фр.).

сделала всего, что могла, не мобилизовала всех своих мужчин, продолжила вести дела, как и прежде, не попыталась остановить войну – и не собиралась этого делать, пока не истощится Франция. И он возненавидел Россию, которая погрязла в болоте политических интриг, которой не хватало организованности, вооружений и лидеров и которая была совершенно не способна потеснить фрицев на другом фронте, не говоря уже о том, чтобы разгромить их. По правде говоря, Антуан намного сильнее ненавидел союзников Франции, чем саму Германию. Его ярость и грусть значительно перевешивали гордость за сына или надежды на его достижения. Сам парень не особенно сопротивлялся, когда его позвали на войну, ведь он был молод, а потому несколько фаталистичен, и, кроме того, он не мог предвидеть того, что его ждало. Но у Антуана, у этого жалкого человечка, было богатое воображение, и он многое предвидел.

К счастью, он все-таки не мог предвидеть того, что в действительности случилось. Так что это стало для него настоящим шоком. Он узнал, что его сына ранили, и потянулись долгие недели, когда паренек лежал в госпитале, а чередой добросердечных девушек из Красного Креста писали Антуану, призывая его крепиться и держаться. Антуан, будучи – по парикмахерским меркам – богатым человеком, время от времени снимал со счета в банке значительные суммы и посылал их девушкам из Красного Креста, чтобы они покупали его сыну все, что может ему помочь поправиться. В одном из провинциальных госпиталей (а в то время большинство раненых помещали в госпитали в провинции, потому что боялись расстроить парижан, выпустив пациентов на улицы) ему сказали, что протезы ног стоят дорого. Так что ему пришлось смириться с фактом, что его сын будет куда более ужасающе хромым, чем он сам. Потом были, пусть и туманные, но разговоры о протезах рук, которые встревожили Антуана. Потом он узнал, что сын пережил чудесную операцию, которую называли «пластической» и с помощью которой ему восстановили недостающие участки лица, используя другие части тела. За все это время он не получил ни строчки от самого парня, и в каждом письме, которое тот надиктовывал девушкам из Красного Креста, он умолял, чтобы ни мать, ни отец не пытались навестить его в провинциальном госпитале, пока он не будет к этому готов.

Наконец, он был «готов». Он провел в госпитале четыре или пять месяцев, и лучшие хирурги страны сделали все что могли. Они не только спасли ему жизнь, но, благодаря отцовским деньгам, его снабдили определенными вспомогательными средствами для тела, которые значительно увеличили шансы на то, что его жизнь не станет невыносимой. Они остались исключительно довольны тем, чего им удалось добиться в случае

ЭЛЛЕН ЛА МОТТ

НА ОТЛИВЕ ВОЙНЫ
(ФРАГМЕНТЫ)



этого бедняги – да что уж говорить, они даже гордились им. Это был их хирургический триумф, и в таком качестве его и отправили обратно в Париж таким-то поездом в такой-то день. Антуан пришел встречать поезд.

В маленькой комнате за парикмахерской Антуан оглядел этот хирургический триумф. Этим триумфом был его сын. Эти две вещи здорово перемешались. Страстная любовь и страстная, яростная ненависть наполнили грудь маленького парикмахера. Рядом с парнем на диване лежали две очень дорогих, очень хороших искусственных ноги. Они были качественно слажены и стоили несколько сотен франков. У той же фирмы можно было бы купить две хороших искусственных руки, легких, настраиваемых, с отличными суставами. Ужасный дряблый мешок под названием «нос», который умело смастерили из плоти, взятой с груди, заменил маленький вздернутый нос, который помнил Антуан. Со ртом почти ничего не делали. Передних зубов не было, но со временем их наверняка можно было бы вставить. Верхнюю часть лица закрывала черная шелковая повязка, которую можно будет позже снять, а в кармане у парня лежала бумажка с адресом места, где можно приобрести искусственные глаза. Ему могли бы дать глаза в провинции, но в Париже их достать намного легче. Антуан посмотрел на грудку мяса, в которую превратился его сын, и эта грудка, не в силах оценить себя в качестве хирургического триумфа, плакала невидящими глазами, умоляюще дергала четыремя культями сразу и упрямилась в агонии:

– Убей меня, папа!

Но этого Антуан сделать не мог, ведь он был цивилизованный человек.

Перевод с английского Даниила Лебедева, вступление Николааса Лукаса, комментарии Синтии Уотчелл